

1. "Как слово наше отзовется"

2. Последний из серебряного века (творчество Георгия Иванова)

3. Религиозные искания в поэзии Вячеслава Иванова

□

□

"Как слово наше отзовется"

"Бедные люди" — пример тавтологии,

Кем это сказано? Может быть мной.

Г. Иванов

Стихи Георгия Иванова, приведенные эпиграфом, отвергают право собственности в искусстве. Поэт считал, что всякая мысль должна быть продолжена и усовершенствована. Особенно художественная мысль.

Итак, в русском языке и в отечественной литературе нередко встречаются ходовые выражения, чему способствуют такие гениальные произведения, как, например, “Горе от ума” Грибоедова и “Евгений Онегин” Пушкина. Но надо, мне кажется, предполагать, что, так сказать, идеальный первоисточник может оказаться где-то в глубине веков. Кто возьмется установить, собственные ли некоторые словесные построения Пушкина или он позаимствовал их у своей няни? А стихотворение Пушкина “В крови горит огонь желаний”? Точно слышится голос библейского времени, а именно “Песни песней” царя Соломона: “Да лобзает меня лобзанием уст твоих”.

Известная фраза “дым отечества”, если представить ее звучание как бы в первый раз, произведет странное впечатление. Что-что, а отечество дымить не может. Но Тютчев пишет:

“И дым отечества нам сладок и приятен!”

Так поэтически век прошлый говорит,

А в наш — и сам талант все ищет в солнце пятен,

И смрадным дымом он отечество коптит.

Фразой “отечество коптит” поэт запустил в Тургенева, который покинул отечество и написал произведение “Дым”. Все сходится, но, увы, стоит оглядеться, как почти такую же фразу находим у Грибоедова и ранее у Державина: “Отечества и дым нам сладок и приятен”. Мне кажется, державинская мысль о “дыме” звучит лучше, потому что я ее понимаю как “даже дым... сладок и приятен, если он отечественный”.

Порой наши поэты заимствуют фразы из зарубежной литературы. Так, например, Аполлон Григорьев в своем стихотворении “Искусство и правда” пишет:

Я помню, как в испуге диком

Он леденил всего меня

Отчаянья последним криком:

“Коня, полцарства за коня!”

Речь идет о драматическом актере П. С. Мочалове, изумительная игра которого произвела большое впечатление на поэта. Но Мочалов играл Ричарда III, и, значит, знаменитое восклицание: “Коня, полцарства за коня!” — принадлежит не Григорьеву, а Шекспиру.

В русской литературе масса примеров, так сказать, взаимного заимствования для пользы дела. Всем известна фраза Грибоедова:

Что за комиссия, Создатель,

Быть взрослой дочери отцом!

Тургенев оценил мысль Грибоедова и написал:

Что за комиссия, Создатель,

Быть братом выросшей сестры!

Люди старшего поколения помнят романс Аренского, в котором звучали слова “Как хороши, как свежи были розы”. Конечно, сразу же приходят на ум северянинские “Классические розы”:

В те времена, когда родились грезы

В сердцах людей прозрачны и ясны,

Как хороши, как свежи были розы

Моей любви и славы и весны!

Наверное, стоит в связи с этим вспомнить еще одни розы. Иван Петрович Мятлев в журнале “Современник” опубликовал их еще в 1843 году:

Как хороши, как свежи были розы

В моем саду! Как взор польщали мой!

Как я молил весенние морозы

Не трогать их холодной рукой...

Приведу также еще две строки их стихотворения Мятлева, чтобы окончательно убедиться в том, что Северянин это стихотворение читал:

И где ж она? В погосте белый камень,

На камне — роз моих завянувший веноч.

Как видим, розы кочуют от одного автора к другому, но свежести своей не потеряли.

Особенно часты заимствования, когда обыгрывается тема памятника. Вспомним Пушкина:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет народная тропа...

Тут же возникают державинские строки:

Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный;

Металлов тверже он и выше пирамид...

Но есть и еще стариннее. Ломоносов заявляет:

Я знак бессмертия себе воздвигнул

Превыше пирамид и крепче меди...

Эстафета в культуре помогает воздвигнуть один общий памятник, но живой русской поэзии, которая, в отличие от памятника, “построенного в боях социализма”, действительно переживет века.

Последний из серебряного века (творчество Георгия Иванова)

Да, как ни грустно и ни

странно — я последний

из петербургских поэтов,

еще продолжающий гулять

по этой становящейся

все более и более уютной

и негостеприимной земле.

Г. Иванов

Чудный серебряный век русской поэзии не вписался в “терновый венец революций”. Он исчез, как свет лета исчезает в предзимней сумрачности. Его героев разметало по всему свету. У них еще была прекрасная и трагическая судьба, но их серебряному веку уже была написана эпитафия, и написал ее последний поэт серебряного века Георгий Иванов:

Овеянный тускнеющею славой,

В кольце святош, кретинов и пройдох

Не изнемог в бою Орел Двуглавый,

А. жутко, унизительно издох.

По использованию поэтических средств для оценки тех или иных событий, как видит читатель, Г. Иванов силой и резкостью отличался от многих своих товарищей — символистов. Он, пожалуй, как вспоминают о нем мемуаристы эмиграции, был самым задиристым спорщиком, оспаривая все, что касалось поэзии, часто в язвительной форме. Славу такого задиры поэт приобрел еще на берегах Невы, в акмеистской среде, где его прозвали “Общественным мнением”. За это свойство его высоко ценили Н. Гумилев и А. Блок. Проницательный А. Блок писал: “Когда я принимаюсь за чтение стихов Г. Иванова, я неизменно встречаюсь с хорошими, почти безукоризненными по

форме стихами, с умом и вкусом, с большой культурной смекалкой, я бы сказал, с тактом; никакой пошлости, ничего вульгарного”.

Лишь попробовав все и отчаявшись в своих возможностях, умирая, Георгий Иванов раскрывает свою душу полностью и неожиданно понимает:

И полную грудью поется,

Когда уже не о чем петь.

Я люблю в его поэзии эти откровения и смелость чувств. Он решительно отвергает не нужное, на его взгляд, не только в себе, но и в искусстве. Например, он отвергает право собственности в искусстве. Он считает, что любая мысль, в том числе поэтическая, должна развиваться:

Вот вылезаю, как зверь из берлоги, я

В холод Парижа, сутулый, больной...

“Бедные люди” — пример тавтологии,

Кем это сказано? Может быть, мной.

Пять последних лет своей жизни поэт публиковал свою лирику на страницах нью-йоркского “Нового журнала” под рубрикой “Дневник”. Этот цикл интересен не только своей мистикой в стихах, но и теми событиями, которые связаны с ним. Хотя, я знаю, что биографии больших художников сплошь пестрят таинственными совпадениями.

Поэт много рассуждал в стихах о жизни и смерти. Он утверждал, что родиться поэтом не трудно, но, чем глубже он пишет о бессмертии, тем грустнее его чисто человеческий удел. Я считаю, что на такое мировоззрение поэта повлияла эмиграция.

Об этом он с сарказмом пишет:

Художников развязная мазня,

Поэтов выпрeнняя болтовня...

Гляжу на это рабское старанье,

Испытывая жалость и тоску:

Насколько лучше — бляенье баранье,

Мычанье, кваканье, кукареку.

У всех поэтов, насколько мне известно, такой мотив возникает: они начинают понимать, что не могут перепеть природу, замыкаются на себе. Сам Георгий Иванов призывал себя много раз отказаться от поэзии, но так и не сделал этого до последнего часа жизни. Более того, его собственное “кукареку” в этом мире было восхитительным. Он, пожалуй, лучше всех поэтов серебряного века отразил вечные полярные символы жизни, звездное сияние и нищету человеческой жизни. Все это соседствует в его стихах в грустной гармонии:

И небо. Красно меж ветвей,

А по краям жемчужно...

Свистит в сирени соловей,

Ползет по травке муравей —

Кому-то это нужно.

Пожалуй, нужно даже то,

Что я вдыхаю воздух,

Что старое мое пальто

Закатом слева залито,

А справа тонет в звездах.

В этом волшебном пальто в бликах заката и сверкании звезд уходящий в вечность поэт Григорий Иванов и запомнился мне навсегда.

□

Религиозные искания в поэзии Вячеслава Иванова

Свечу, кричу на бездорожья;

А вокруг немеет, зов глуша,

Не по-людски и не по-божьи

Уединенная душа.

Вяч. Иванов

Поэзия символистов искала выхода в неземной воле. Известно, что поэты-символисты пытались представить себя некими жрецами, вступали в различные мистические общества. Зачисляли себя в ряды кто масонов, кто штейнеровцев, кто мартинистов. Вячеслав Иванов принадлежал, как известно, к одному из таких тайных обществ. Он вернулся из Италии, насыщенный образами древних мифов. От этого корня прямая дорога вела его в католическое средневековье, к Возрождению, к романтизму посленаполеоновской Европы. Вяч. Иванов поклоняется чуть ли не всем богам средиземноморских культур и находит в них отклик своим раздумьям. Он поклоняется Озирису и Вакху, знает наизусть тамплиера Данте и розенкрейцера Гете. В своих культовых увлечениях он ненасытен. Стихи его в это время переполнены мифическими образами.

Вячеслав Иванов искренне верил, что сама поэзия является тоже своего рода миссией, призванной для той же божественной цели, что и пришествие божества в мир

людей.

Внутренний мир поэта, мне кажется, можно определить как духовно-исповедальный. Религиозные исповедания в стихах для него много значили:

Земных обетов и законов

Дерзните преступить порог, —

И в муке нег, и в пире стонов,

Воскреснет исступленный Бог!..

Молодежи поэт был не очень понятен. Молодежь в вопросах веры, в отличие от Вяч. Иванова, стояла на твердых христианских позициях. Он же, по-моему, готов был поклоняться всем богам, подчинить свою волю всем горним силам, лишь бы они увлекли его в высший мир:

Вдаль влекомый волей сокровенной,

Пришлецы неведомой земли,

Мы тоскуем по дали забвенной,

По несбывшейся дали.

Душу память смутная тревожит,

В смутном сне надеется она;

И забыть богов своих не может, —

И воззвать их не сильна!..

Поэт признает, что он не может выбросить из сердца, в данном случае, античных богов, хотя воскресить их не может. Наверное, вся мифотворческая поэзия Вяч. Иванова и была по сути попыткой воскрешения античных образов. Поэт не был христианином, но всю жизнь томился жаждой христианства, как многие интеллигенты того времени.

Сергей Маковский в своих мемуарах вспоминал: “Запомнился мне разговор на религиозную тему, происходивший в 1909 году, втроем с Вячеславом Ивановым и Иннокентием Ан-ненским (неверующим, никакой мистики не признающим)”. Цитата Маковского длинная, и я своими словами передам ее суть: в разговоре выяснилось, что Иванов верит в Христа, но лишь в пределах Солнечной системы. Но он верит и в богов Олимпа, и в духов земли, и во все магии. Это подтверждает мое предположение, что Иванов ощущал себя человеком мира. Предполагаю, что ему была знакома философия Ницше, где появляется “богочеловек”.

Любопытно, что этот поэт и свою жену пытался в своей поэзии обоготворить. Он ее в буквальном смысле слова прославлял, как богиню. С точки зрения христианства это, конечно, недопустимо, но поэт непредсказуем.

Вот сонет “Любовь”, где он вновь говорит с женой, но уже как с частью собственного единства:

Мы двух теней скорбящая чета

Над мрамором божественного гроба,

Где древняя почитает Красота.

Единых тайн двугласные уста,

Себе самим мы — Сфинкс единый оба.

Мы — две руки единого креста.

Поэт, мне кажется, совершенно уверен, что его лира может только к чему-то стремиться, только восторгаться и даже нечаянно не может оскорбить божественного начала. Поэтому меня, как читателя, не смущают такие его художественные несоизмеримости, как “Над мрамором божественного гроба...”, “Мы — две руки единого креста”. Все не так, но все у поэта как бы оправдано какой-то сверхгармонией. Разумеется, в тайны посвященный маг мыслит не по-людски и не по-божьи. Вот, я думаю, и Вяч. Иванов занимает какое-то среднее пространство между Богом и людьми, между человеческим ничтожеством и божественной силой. Он из тех, кого Евангелие называет “волхвователями и обаятелями”.

В поздних стихотворениях поэт вспоминает свои дерзкие воззрения на божественное начало:

Не первую ль из всех моих личин

Был Люцифер? Не я ль в нем не поверил,

Что жив Отец, — сказав: “аз есть един”?

Денница ли свой дольный лик уверил,

Что Бога нет, и есть лишь человек?..

Наверное, так надо понимать и восклицание поэта в стихотворении “Зодчий”:

Я башню безумную зижду

Высоко над мороком жизни...

Но в более поздних стихах Вяч. Иванова христианское самосознание все же берет верх. Демонические дерзания начинают мучить его совесть.

В стихотворении “Прозрачность” звучит раскаянием обращение к “демону”:

Мой демон! Ныне ль я отрину?

Мой страж, я пал, тобой покинут!

Мой страж, меня ты не стерег, —

И враг пришел и превозмог...

Интересна в этом плане концовка этого стихотворения:

Так торжествует, сбросив цепи,

Беглец, достигший вольной степи!

Но ждет его звенящих ног

Застенка злейшего порог.

В конце концов творческий рост поэта приводит его к настоящему христианству без всяких оговорок о солнечных системах. Это христианство ортодоксальное. В последние годы жизни мифические образы поэт использовал лишь как метафоры и не более того. Он горько признается:

...я слышал с неба зов:

“Покинь, служитель, храм украшенный бесов”.

И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды

Молчанья дикий мед и жесткие акриды.

Утратив веру в своих несостоявшихся богов и богинь, Вяч. Иванов обрек себя на молчание. Античные божества более не возникают в его стихах.

Но религиозные искания Вяч. Иванова в поэзии привели его к самому главному и необходимому его душе. Это ощущение России как центра мироздания:

Как осенью ненастной тлеет

Святая озимь, тайно дух

Над черною могилой реет,

И только душ тончайший слух

Несотворенный трепет ловит

Средь косных глыб, — так Русь моя

Немотной смерти прекословит

Глухим зачатьем бытия.

Смерть настигла поэта в Риме. Прах его там, но душа — у нас в России.

